

ПРЕДТЕЧА ЖЗЛ

БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА



**ГОГОЛЬ, КРЫЛОВ,
ФОНВИЗИН, САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН И ГРИБОЕДОВ**

**ЮМОР – ЭТО
СЕРЬЁЗНО**



Александра Анненская

Юмор – это серьезно.

**Гоголь, Крылов, Фонвизин,
Салтыков-Щедрин и Грибоедов**

«Алисторус»

2018

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Анненская А. Н.

Юмор – это серьезно. Гоголь, Крылов, Фонвизин, Салтыков-Щедрин и Грибоедов / А. Н. Анненская — «Алисторус», 2018

ISBN 978-5-907024-50-2

Великие российские литераторы XIX века, чьи произведения – смесь доброго юмора и злой сатиры. Кем же они были в обычной жизни: веселыми балагурами или мрачными циниками? Чем запомнились они современникам? На эти и другие вопросы в своих биографических очерках отвечают популярные в начале прошлого века журналисты. Об этом не расскажут на уроках литературы!

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-907024-50-2

© Анненская А. Н., 2018
© Алисторус, 2018

Содержание

А. Н. Анненская	5
Николай Гоголь	5
Глава I. Семья и школа	5
Глава II. Приезд Гоголя в Петербург и начало его литературной известности	12
Глава III. Первые поездки за границу	20
Глава IV. Предвестники душевного расстройства	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александра Анненская, Семен Бриллиант, Сергей Кривенко Юмор – это серьезно. Гоголь, Крылов, Фонвизин, Салтыков-Щедрин и Грибоедов

А. Н. Анненская

Николай Гоголь

Глава I. Семья и школа

Родительский дом. – Даровитый отец и домовитая мать. – Страсть к театру в семье Гоголя. – Лицей князя Безбородко. – Отсутствие друзей у Гоголя в школе. – «Таинственный Карло». – Ранние проблески наблюдательности. – Слабая постановка преподавания в лицее. – Невежественные учителя. – Лениность Гоголя. – Домашние спектакли. – Маленький библиотекарь. – Первые стихотворные опыты Гоголя в школе. – Он делается редактором школьного журнала. – Мечты о службе в Петербурге. – Дружба с Высоцким

Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 19 марта 1809 года в местечке Сорочинцы, на границе Полтавского и Миргородского уездов. Отец его был небогатый полтавский помещик, и раннее детство Николай Васильевич провел в кругу семьи, в родовом имении отца, селе Васильевке. Картины природы и быта Малороссии, которые впоследствии наполнили живыми образами произведения Гоголя, окружали его в первые годы жизни, будили первые впечатления его души.

Низенький, ветхий домик с затейливыми зубцами вдоль крыши, с боковыми башенками и остроконечными окнами по углам, вокруг него старый тенистый сад, за садом на холме белая одноглавая церковь, у подножия ее село с маленькими домиками и группами высоких деревьев – вот та обстановка, среди которой рос и развивался от природы мечтательный ребенок.

Отец его, Василий Афанасьевич, был человек очень неглупый, необыкновенно остроумный, много выдавший и испытавший на своем веку, неистощимый балагур и рассказчик. В Васильевку беспрестанно собирались близкие и дальние соседи; гостеприимный хозяин радушно угощал их произведениями малороссийской кухни и потешал рассказами, приправленными солью чисто малороссийского юмора. Тут-то, среди этих соседей, нашел Николай Васильевич прототипы своих Афанасиев Ивановичей, Иванов Никифоровичей, Шпонек, Голопузей и проч., и проч.

Недалеко от Васильевки, в селе Кибинцы, жил в то время известный Д. Н. Трощинский. Отставной министр, богатый вельможа, он устроился в своем сельском уединении на широкую ногу. Его окружал целый штат всевозможной прислуги, шутов, приживальщиков, бедных родственников. В доме его собиралось многолюдное общество, беспрестанно давались пиры, празднества, и между прочим устроен был домашний театр. Василий Афанасьевич, дальний родственник Трощинского, был своим человеком в его доме. Бывший государственный деятель успел оценить оригинальный ум и редкий дар слова соседа. Кроме того, Василий Афанасьевич, страстный театрал, принимал самое деятельное участие в постановке спектаклей его театра. В

то время только что появились «Наталка Полтавка» и «Москаль Чаривный» Котляревского; пьесы эти восхищали малороссов и возбуждали в них желание заменить переводы французских и немецких комедий сценами, взятыми из родной действительности. Василий Афанасьевич написал несколько комедий из малороссийского быта для театра Трошинского, сам дирижировал постановкой их и исполнял в них разные роли. Не знаем, присутствовал ли маленький Никола, как звали Николая Васильевича в семье, на представлении этих пьес в доме богатого родственника, но, во всяком случае, он слышал толки и разговоры о них, был свидетелем всей той веселой суеты, которая обыкновенно сопровождает устройство домашних спектаклей, и это зародило в душе его вкус к театру, к драматическим представлениям.

От отца Николай Васильевич унаследовал юмор, дар увлекательного рассказчика, любовь к искусству вообще и к театру в особенности; мать передала ему горячее религиозное чувство и стремление приносить пользу окружающим, если нельзя делом, то хоть советом, хоть словом утешения и одобрения. Марья Ивановна Гоголь была, по отзывам всех знавших ее людей, в высшей степени симпатичная личность. После раннего замужества она почти безвыездно жила в деревне, сосредоточив все свои интересы на тесном круге семьи и хозяйства. Василий Афанасьевич умер, когда старший из детей, Николай Васильевич, еще учился в лицее, а кроме него дома было пять девочек; воспитание детей и все заботы по хозяйству в имении лежали исключительно на Марье Ивановне.

«Мало что езжу по хозяйственным делам, и дрожки никогда не откладываются, а только переменяют лошадей, – описывала она свое времяпрепровождение одному родственнику, – надобно еще смотреть за порядком в доме, за детьми маленькими смотреть и о больших думать». Эти хлопоты не мешали ей строго исполнять все религиозные обряды и вести деятельную переписку с родными и знакомыми, а особенно с сыном. Николай Васильевич был уже в Петербурге и хлопотал о поступлении на государственную службу, а она все еще считала необходимым писать ему «несколько строк морали», так как он «еще не установился». Во всей переписке Марьи Ивановны беспрестанно высказывается ее смиренная покорность воле Провидения, ее искренняя любовь к окружающим, ее практический, здравый смысл, странно соединявшийся с самым наивным незнанием людей и общественных отношений. Гоголь до конца жизни относился к матери с самой нежной любовью; она обожала его и гордилась им. Его первые ученические сочинения хранились как драгоценность в Васильевке, малейшая невзгода его мучительно тревожила мать, она хвастала его литературными успехами и в кругу своих знакомых прямо называла его гением. К ней, как имеющей «тонкий наблюдательный ум», обращался Гоголь из Петербурга с просьбой сообщить ему названия разных частей малороссийских костюмов, разные народные предания и поверья, разные малороссийские обряды и обычаи.

Книжное обучение Николая Васильевича началось довольно рано. Восьми лет он уже учился грамоте у учителя-семинариста, а на следующий год отец отвез его и младшего брата Ивана в Полтаву и поместил их у одного учителя, который должен был приготовить их к поступлению в гимназию. У этого учителя дети прожили недолго. В следующем году, когда их взяли на каникулы домой, маленький Иван заболел и умер, а родителям жалко было отправлять к чужим людям Николу, сильно скучавшего по брату, и они оставили его на несколько месяцев дома. В это время в Нежине открылась «Гимназия высших наук», или Лицей князя Безбородко, и в начале 1821 года Василий Афанасьевич поместил туда сына.

Гимназия была еще плохо организована, в ней насчитывалось всего около 50 воспитанников, разделенных на три отделения; учебный персонал был не в полном составе. Но зато помещение ее было просторное, в больших классных и спальнях много света и воздуха, а вокруг расстилался густой, тенистый сад, почти лес, и протекала тихая речка, полузаросшая камышом. В этом саду дети проводили все время, свободное от классных уроков. Надзор за ними был очень слабый, и им предоставлялось самостоятельно развивать свои нравственные и умственные силы, без руководства старших, исключительно в кругу товарищей. Многие проводили

все время в праздности и шалостях, но более даровитые личности не удовлетворялись ребяческими играми. В обширном саду им было где уединиться от шумных товарищей; в укромном тенистом уголку они углублялись в книгу, впервые пробудившую в них любовь к мысли и знанию; взгромоздясь на сук какого-нибудь старого дерева, они обдумывали и даже набрасывали на бумагу свои первые опыты литературных произведений.

Когда Гоголя привезли в лицей, это был худенький, болезненный 12-летний мальчик; лицо его поражало прозрачной бледностью, вследствие золотухи у него была частая течь из ушей. Он дичился новых товарищей, устранился от их шумных игр. Такого рода новички обыкновенно не нравятся школьникам, и Гоголь долго был жертвою их насмешек и разных проделок. Чтoб Николе было не так жутко среди чужих, родители отправили с ним вместе своего крепостного лакея, Симона, который должен был исполнять роль слуги в пансионе при гимназии, а главное – ухаживать за «барчонком». Первое время Гоголь сильно скучал по семье и родному дому; тоска эта особенно усиливалась вечером, когда он ложился в постель. Часто Симон просиживал над ним целые ночи, утешая его, уговаривая не плакать.

Мало-помалу мальчик привык к школьной жизни, перестал чуждаться товарищей, с одним из них сблизился, на насмешки других отвечал такими меткими и едкими сарказмами, что шутникам приходилось прикусить язык. Гоголь никогда не был резвым шалуном. Слабый и тихий от природы, он не принимал участия не только в буйных шалостях мальчиков, но даже в играх, требовавших напряжения физических сил; одурачить учителя, запустить гусара в нос сонному товарищу, снабдить кого-нибудь метким прозвищем – это было по его части. Одного лицеиста, часто нападавшего на него, он прозвал за коротко остриженные волосы «Расстригою Спиридоном», и вот вечером, в день именин его, он уставил в гимназическом зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище дервишей всех,
Инок монастыря строптивый,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

Один раз, чтобы избежать наказания, Гоголь так ловко прикинулся сумасшедшим, что обманул и перепугал все гимназическое начальство.

Ни учителя, ни товарищи не считали Гоголя талантливым, многообещающим мальчиком. Его с ранних лет проявлявшаяся тонкая наблюдательность не обращала на себя их внимания; его способность не только подмечать все характеристические черты наружности и обращения окружающих, но и поразительно верно передавать их забавляла мальчиков, а взрослым представлялась просто шутовством, глупым передразниванием.

Настоящих друзей у Гоголя никогда не было. С самого детства в нем не замечалось простодушной откровенности и общительности, всегда был он как-то странно скрытен, всегда в душе его оставались уголки, куда не смел заглядывать ничей глаз. Часто даже о самых обыкновенных вещах он говорил неспроста, облекая их какой-то таинственностью или скрывая свою настоящую мысль под маской шутки, балагурства. Со свойственною детям проницательностью лицеисты скоро подметили эту черту в характере Гоголя, и долго носил он у них прозвание «таинственный Карло». Из общей массы школьников он выделял трех-четырех

(Г. Высоцкий, А. Данилевский, Н. Прокопович), с которыми был дружнее, чем с остальными, которым иногда поверял свои детские затеи, свои юношеские мечты и думы.

Свыкшись с лицейской жизнью, войдя в ее интересы, Гоголь не переставал рваться душой домой, в круг семьи, в свою родную Васильевку. Поездки в деревню на каникулы были во все время школьной жизни истинным праздником для него. Обыкновенно за ним и его двумя товарищами, соседями по имени, присылали помещителеный экипаж; мальчиков снабжали разной домашней провизией, и они отправлялись в путь на долгих, с крепостным кучером и лакеем. Дня три тянулось путешествие, во время которого они могли и проказить сколько угодно, а Гоголь, кроме того, изощрял свою наблюдательность на всех встречаемых предметах. Всякое здание, всякий прохожий – все возбуждало его детское любопытство, заставляло работать его воображение. «Уездный чиновник пройди мимо, – вспоминает он в „Мертвых душах“ (т. I, гл. II) – я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей; и о чем будет вестись разговор у них в то время, когда дворовая девка в мантиях или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа саленую свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока раздадутся на обе стороны заступающие его сады, и он покажется весь, со своей тогда, увы! вовсе не пошлой наружностью, и по нему старался я угадать: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей, с звонким девичьим смехом, играми и вечной красавицей меньшей сестрицей, и черноглазые ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скудную для юности рождь и пшеницу».

Научное преподавание в лицее было поставлено весьма слабо. По количеству преподаваемых предметов программа была широкая и разносторонняя. В нее входили, кроме закона Божия, русского языка, математики, физики, истории и географии, еще: нравственная философия и логика, римское право, русское гражданское и уголовное право, государственное хозяйство, начала химии, естественная история, технология, военные науки, языки: латинский, греческий, французский и немецкий, рисование, музыка, пение, танцы, фехтование. Из одного этого перечня предметов, которые ученики должны были усвоить себе в течение семи лет, видно, что об основательном прохождении курса не могло быть и речи. К этому надобно прибавить, что большинство преподавателей не удовлетворяли самым скромным педагогическим требованиям. Классный журнал, в котором записывались проступки учеников, поражает своей безграмотностью; учитель русской словесности Никольский не признавал поэтов после Державина и Хераскова: Пушкина он глубоко презирал, хотя никогда не читал. Один из учеников представил ему под видом собственного сочинения отрывок из «Евгения Онегина», и он не заподозрил обмана. Школьная дисциплина, даже просто порядок очень слабо поддерживались в заведении. Директор лицея И. С. Орлай, вообще человек мягкий, склонный смотреть сквозь пальцы на недостатки своих воспитанников, особенно снисходительно относился к Гоголю, с родителями которого был соседом по имени и познакомился в доме Трошинского.

Так, Гоголь часто во время урока выходил из класса и спокойно прогуливался по коридорам. Завидя издали директора, который очень не любил подобные проступки, он не прятался, как другие воспитанники, а употреблял иного рода уловку. Он прямо подходил к И. С. Орлаю и говорил ему: «Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имени все идет очень хорошо». – «Душевно благодарю, – отвечал обыкновенно

директор, – будете писать матушке, не забудьте поклониться ей от меня и поблагодарить ее».

Гоголь мог беспрепятственно лениться и действительно ленился, не обращая внимания на такие мелкие неприятности, как плохая отметка в журнале, наказание без обеда или без чая, стояние в углу за дурно отвеченный урок. Способности у него были хорошие; наскоро проглядев предыдущую лекцию, он почти всегда мог довольно удовлетворительно передать ее, а засев за книги в последний месяц перед экзаменом, успевал подготовиться настолько, что беспрепятственно переходил в следующий класс. Из всех предметов преподавания одним только рисованием Гоголь занимался усердно. Он охотно слушал теоретические рассуждения об искусстве своего учителя Павлова, человека, преданного делу, и сам много рисовал и карандашом, и красками.

Вообще же занятие науками или тем, что читалось в классе под именем науки, привлекало очень немногих лицеистов. Некоторые из них проводили время в шалостях, даже кутежах, производивших в городе скандалы; другие придумали себе более благородное развлечение – устройство домашних спектаклей. Инициатором этих спектаклей был, по всей вероятности, Гоголь, который, возвратясь после каникул в училище, с увлечением рассказывал о домашнем театре Троицкого и привез пьесы на малороссийском языке. В первых представлениях участвовали немногие воспитанники; они играли в классе без подходящих постановок и декораций, без занавеса, взамен которого просто расставляли классные доски. Но мало-помалу страсть к театру распространилась среди лицеистов. Они сложились, устроили себе костюмы и кулисы. В январе 1824 года Гоголь пишет отцу:

«...Прошу вас покорнейше прислать мне комедии, как то: „Бедность и благородство души“, „Ненависть к людям и раскаяние“, „Богатонов, или Провинциал в столице“, и ежели каких можно прислать других, за что я вам очень буду благодарен и возвращу в целости. Также, ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена „Эдип в Афинах“, трагедия Озерова. Я думаю, дражайший папенька, вы не откажете мне в удовольствии сем и прислать нужные пособия, так если можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть один, получше ежели бы побольше; также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой просьбе. Когда же я сыграв свою роль, о том я вас извещу».

Начальство гимназии покровительствовало этой затее воспитанников, находя, что она отвлекает их от вредных шалостей и служит развитию их эстетического вкуса. И. С. Орлай вздумал воспользоваться ею, чтобы побудить лицеистов прилежнее заниматься иностранными языками, и требовал, чтобы они время от времени ставили у себя в театре французские пьесы. Они согласились, но предпочитали представления на русском языке. Мало-помалу театр в лицее так усовершенствовался, что на него стали приглашать и городскую публику.

В феврале 1827 года Гоголь пишет матери: «Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провести, как мы: всю неделю веселились без усталости. Четыре дня сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все приезжие, и все с отличным вкусом».

Лучшими актерами в этом лицейском театре считались Гоголь и Кукольник, будущий автор пьесы «Рука Всевышнего отечество спасла». Гоголь возбуждал общий восторг в комических ролях, Кукольник – в трагических. Женские роли исполнялись также лицеистами. Роль Простаковой из «Недоросля» была одной из лучших в репертуаре Гоголя; приятель его Данилевский, хорошенький, грациозный мальчик, изображал Мошну, Антигону и вообще всяких нежных красавиц.

Кроме театра, Гоголь стал рано увлекаться и чтением. Он доставал книги от своего отца, от учителей, из библиотеки Троицкого, тратил на них значительную часть своих

карманных денег и в складчину с несколькими товарищами выписывал сочинения Жуковского и Пушкина, «Северные цветы» Дельвига и другие журналы и альманахи. «Евгений Онегин», выходявший тогда по частям и считавшийся до некоторой степени запретным плодом, приводил в восторг юных лицеистов. Гоголь выбран был хранителем книг, выписываемых в складчину. Он выдавал их для чтения, строго наблюдая очередь; получивший книгу должен был с нею усесться чинно на определенное место и не вставать с него, пока не возвратит. Мало того, так как руки читателей редко отличались чистотой, то библиотекарь, прежде чем выдать книгу, оборачивал каждому бумажкой большие и указательные пальцы.

Увлекаясь чтением, лицеисты и сами пробовали писать. Первые литературные опыты Гоголя были написаны в стихотворной форме.

В одном из младших классов гимназии он читал своему товарищу Прокоповичу балладу «Две рыбки», в которой изобразил себя и своего рано умершего брата. Позднее он написал пятистопными ямбами целую трагедию: «Разбойники». Но главное содержание его стихотворений было сатирическое: он осмеивал в них не только товарищей и учителей, но и других обывателей города. Один из школьных приятелей Гоголя имел в руках довольно объемистую сатиру его на жителей Нежина: «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». В ней изображались типические лица разных сословий при торжественных случаях, и разделялась она на следующие главы: 1) «Освящение церкви на Греческом кладбище»; 2) «Выбор в городской магистрат»; 3) «Всеядная ярмарка»; 4) «Обед у Предводителя дворянства»; 5) «Роспуск и съезд студентов».

Гоголь не придавал никакого значения всем этим шуточным стихотворениям, считал их простой забавой; он и все его товарищи находили, что настоящие сочинения должны касаться предметов серьезных и быть написаны торжественным, высоким слогом. Пример «Вестника Европы» Карамзина, книжки которого Гоголь получал от отца, соблазнил лицеистов, и они решили издавать свой собственный журнал. Гоголь был выбран редактором этого журнала, носившего заглавие «Звезда». Мальчикам хотелось придать своему изданию вид печатных книг, и Гоголь просиживал целые ночи, разрисовывая заглавные листы. Сотрудники держали статьи свои в величайшей тайне от прочих товарищей, и они знакомились с ними только первого числа, когда вся книжка была готова, «выходила в свет». Гоголь, и тогда уже отличавшийся умением очень хорошо читать, часто громко прочитывал всему классу свои и чужие произведения. Он поместил в «Звезде» несколько своих стихотворений и большую повесть: «Братья Твердиславичи», подражание повестям Марлинского. К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не уцелело, и о самой «Звезде», издававшейся недолго, сохранилось у бывших лицеистов очень смутное воспоминание. Одно только помнят они, что все статьи их журнала были написаны самым напыщенным слогом и преисполнены риторикой; только такой род писания считали они делом серьезным, настоящей литературой.

Подобный взгляд ясно виден и в переписке Гоголя за время его ученичества. В письмах к товарищам, даже иногда к дяде, он шутит, балагурит, вставляет крепкие словечки и простонародные выражения. Ничего подобного не видим мы в его письмах к матери, на которые он, очевидно, смотрел как на дело серьезное. Все они «сочинены» в благородно-возвышенном тоне, все переполнены напыщенными фразами. Даже при известии о смерти отца, сильно поразившей его, он не может выразить свои чувства просто, без риторических прикрас и преувеличений! «Не беспокойтесь, дражайшая маменька, – пишет 16-летний мальчик, – я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием, однако ж не дал никому заметить, что я был опечален; оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния; хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего, и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источ-

ник утешения и утоления моей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь покоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что бы меня привязывало к жизни? Разве я не имею еще чувствительнейшей, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга, и всего? Что есть милее? Что есть драгоценнее?»

Мысль о том, что делать, как устроить свою жизнь по выходе из лицея, рано стала занимать Гоголя. Литературным попыткам своим он не придавал никакого значения и никогда не мечтал быть писателем. Ему казалось, что, только состоя на службе государственной, человек может приносить пользу близким и отечеству. Вот что он писал в октябре 1827 года дяде своему по матери, П. П. Косяровскому:

«Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства, я кипел желанием принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив имени своего ни одним прекрасным делом – быть в мире и не означить его существования – это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции, я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеем, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага».

И в этом письме, как во всех «серьезных» письмах Гоголя того времени, есть много преувеличений и в то же время много детского незнания жизни, но оно ясно показывает, какие мечты, какие стремления наполняли душу юноши. Поверенным этих стремлений был товарищ Гоголя по лицей, ученик старшего класса Г. Высоцкий. Из всех лицеистов Гоголь был, кажется, всего дружнее с ним. «Нас сроднила глупость людская», – говорит Гоголь в одном из своих писем. Действительно, Высоцкий отличался, подобно своему младшему товарищу, способностью подмечать смешные или пошлые стороны в характерах окружающих людей и зло подсмеиваться над ними. В лазарете, где он часто сидел вследствие болезни глаз, вокруг постели его собирался целый клуб, в котором сочинялись разные забавные анекдоты, передавались с комической стороны лицейские и городские происшествия. Вероятно, отчасти под его влиянием Гоголь стал вполне отрицательно относиться не только ко всему гимназическому начальству, начиная с директора, которого раньше очень хвалил, но и к другим лицам, внушавшим ему в детстве благоговейное почтение, как, например, к Троицкому. С Высоцким же вместе мечтали они тотчас по окончании курса ехать в Петербург, поступить на государственную службу, сделаться полезными членами общества, а для себя приобрести славу и общее уважение. Высоцкий кончил курс двумя годами раньше Гоголя и действительно уехал в Петербург в 1826 году.

После его отъезда Гоголь стал еще более прежнего стремиться покинуть надоевший ему Нежин, со всеми населяющими его «существователями», которые «задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека». Петербург представлялся ему каким-то волшебным краем, с одной стороны, открывающим поле для широкой всесторонней деятельности, с другой – представляющим возможность наслаждаться всеми дарами искусства, всеми благами умственной жизни.

«Ты уже на месте, – пишет он товарищу в начале 1827 года, – уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я?.. Зачем нам так хочется скоро видеть наше счастье? зачем нам дано нетерпение? Мысль о нем и днем, и ночью мучит, тревожит мое сердце; душа моя хочет вырваться из тесной своей обители, и я весь нетерпение. Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно

торопишься пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемым веком...»

Убедясь на опыте, что петербургская действительность мало соответствовала их юношеским мечтам, Высоцкий старался разочаровать товарища и представить ему те трудности и неприятности, какие встретят его в столице, но на Гоголя эти предостережения производили мало впечатления.

«Ты ужаснул меня чудовищами разных препятствий, – пишет он в 1827 году, – но они бессильны, или – странное свойство человека! – чем более трудностей, чем более преград, тем более он летит туда. Вместо того чтобы остановить меня, они еще более разожгли во мне желание».

Очевидно, неопытный юноша весьма смутно представлял себе «чудовища» мелких неприятностей, дразг, уколов самолюбия, неудач, сопровождающих первые шаги в практической жизни. Прося мать выслать ему денег на покупку необходимых для занятий книг, он самоуверенно заявляет, что все траты на его образование вернутся ей «утроенными с большими процентами», что ему придется просить у нее некоторого вспоможения разве в первые два-три года петербургской жизни, а там он и сам прочно устроится и будет иметь возможность перевезти ее к себе, чтобы она была его «ангелом-хранителем».

Рассчитывая на успех в Петербурге, он упрашивает и мать, и дядю устроить так, чтобы его часть имения перешла к матери и она была бы самостоятельно обеспечена в материальном отношении.

От этих мечтаний о счастливой петербургской жизни Гоголю приходилось отрываться и засаживаться за учебники. Выпускной экзамен приближался, надобно было отдать отчет в тех знаниях, какие были приобретены за шестилетнее пребывание в лицее, а юноша с ужасом видел, как ничтожны эти знания: по математике он был очень слаб; из иностранных языков мог с грехом пополам понимать только легкие французские книги, по латыни в три года выучился переводить только первый параграф хрестоматии Кошанского; из немецкого пробовал с помощью словаря читать Шиллера, но этот труд оказался ему не под силу; даже по-русски он писал далеко не правильно и в орфографическом, и в стилистическом отношении. «Я теперь совершенный затворник в своих занятиях, – сообщает он матери в конце 1827 года. – Целый день с утра до вечера ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего; нужно стараться вознаградить его; и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу вдвое больше, нежели во все время моего здесь пребывания...»

Трудно себе представить, чтобы в какие-нибудь шесть месяцев Гоголю удалось в значительной степени пополнить пробелы своего образования. Во всяком случае, в июне 1828 года он выдержал выпускной экзамен и мог осуществить свою мечту – ехать в Петербург. Какие-то семейные дела задержали его до конца года в деревне, и только в декабре он вместе со своим товарищем и соседом по имению А. Данилевским уселся в кибитку и двинулся в дальний путь.

Глава II. Приезд Гоголя в Петербург и начало его литературной известности

Разочарование и неудачи, – Экспромтом в Любек. – Поступление на службу и отставка. – Первые успехи на литературном поприще. – «Вечера на хуторе». – Знакомство с Жуковским, Пушкиным и Карамзиным. – В кругу нежинских товарищей. – «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Женитьба», «Ревизор». – Гоголь в роли неудачного адъютанта по кафедре истории. – Тяготение к литературе. – Белинский предсказывает Гоголю славную будущность. – «Ревизор» ставится на сцену по личному желанию императора Николая I

Сильно волновались молодые люди, подъезжая к столице. Они, как дети, беспрестанно высовывались из экипажа посмотреть – не видны ли огни Петербурга. Когда, наконец, замелькали вдали эти огни, их любопытство и нетерпение достигли высшей степени. Гоголь даже отморозил себе нос и схватил насморк, беспрестанно выскакивая из экипажа, чтобы лучше насладиться вожаделенным зрелищем. Остановились они вместе, в меблированных комнатах, и сразу должны были познакомиться с разными практическими хлопотами и мелкими неприятностями, встречающими неопытных провинциалов при первом появлении их в столице. Эти дразги и мелочи обыденной жизни удручающим образом действовали на Гоголя. В его мечтах Петербург был волшебной страной, где люди наслаждаются всеми материальными и духовными благами, где они делают великие дела, ведут великую борьбу со злом – и вдруг вместо всего этого грязная, неуютная меблированная комната, заботы о том, как бы подешевле пообедать, тревога при виде, как быстро опустошается кошелек, казавшийся в Нежине неистощимым! Дело пошло еще хуже, когда он начал хлопотать об осуществлении своей заветной мечты – о поступлении на государственную службу. Он привез с собой несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам и, конечно, был уверен, что они немедленно откроют ему пути к полезной и славной деятельности; но, увы – тут снова ждало его горькое разочарование. «Покровители» или сухо принимали молодого, неловкого провинциала и ограничивались одними обещаниями, или предлагали ему самые скромные места на низших ступенях бюрократической иерархии – места, которые нимало не соответствовали его горделивым замыслам. Он попробовал было вступить на литературное поприще, написал стихотворение «Италия» и послал его под чужим именем в редакцию «Сына отечества». Стихотворение это, весьма посредственное и по содержанию, и по мысли, написанное в романтически-напыщенном тоне, было, однако, напечатано. Этот успех приободрил молодого автора, и он решил издать свою поэму «Ганс Кухельгартен» (подражание «Луизе» Фосса), задуманную и, по всей вероятности, даже написанную им еще в гимназии. Втайне от самых близких друзей своих, скрываясь под псевдонимом В. Алова, напечатал он свое первое большое литературное произведение (71 страница в 12-ю долю листа), роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию и с замиранием сердца ждал приговора о нем публики.

Увы! Знакомые или совсем ничего не говорили о «Гансе», или отзывались о нем равнодушно, а в «Московском телеграфе» появилась коротенькая, но едкая заметка Полевого, что идиллию г-на Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот первый неблагоприятный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души.

Он бросился по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев все экземпляры своей идиллии и тайно сжег их.

Еще одна попытка добиться славы, сделанная Гоголем в это же время, привела к таким же печальным результатам. Вспомнив свои успехи на сцене Нежинского театра, он вздумал поступить в актеры. Тогдашний директор театра, князь Гагарин, поручил чиновнику своему Храповицкому испытать его. Храповицкий, поклонник напыщенной декламации, нашел, что он читает слишком просто, маловыразительно и может быть принят разве на «выходные роли».

Эта новая неудача окончательно расстроила Гоголя. Перемена климата и материальные лишения, какие ему приходилось испытывать после правильной жизни в Малороссии, повлияли на его от природы слабое здоровье, при этом все неприятности и разочарования чувствовались еще сильнее; кроме того, в одном письме к матери он упоминает, что безнадежно и страстно влюбился в какую-то красавицу, недостижимую для него по своему общественному положению. Вследствие всех этих причин Петербург опротивел ему, ему захотелось скрыться, убежать, но куда? Вернуться домой, в Малороссию, ничего не добившись, ничего не сделав, – это было невыносимо для самолюбивого юноши. Еще в Нежине он мечтал о заграничной поездке, и вот, воспользовавшись тем, что небольшая сумма денег матери попала ему в руки, он, недолго думая, сел на корабль и отправился в Любек.

Судя по его письмам этого времени, он не связывал с этой поездкой никаких планов, не имел никакой определенной цели, разве полечиться немного морскими купаньями; он просто в юношеском нетерпении бежал от неприятностей петербургской жизни. Вскоре, однако, письма матери и собственное благоразумие заставили его одуматься, и после двухмесячного отсутствия он вернулся в Петербург, стыдясь своей мальчишеской выходки и в то же время решившись мужественно продолжать борьбу за существование.

В начале следующего 1830 года счастье наконец улыбнулось ему. В «Отечественных записках» Свинына появилась его повесть: «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», а вскоре после того он получил скромное место помощника столоначальника в департаменте уделов. Давнишнее желание его приносить пользу обществу, состоя на государственной службе, исполнилось, но какая разница между мечтой и действительностью! Вместо того чтобы благодетельствовать целому государству, всюду распространять правду и добро, искоренять ложь и злоупотребления, скромному помощнику столоначальника приходилось переписывать да подшивать скучные бумаги о разных мелких, вовсе не интересовавших его делах. Понятно, служба очень скоро надоела ему, он стал небрежно относиться к ней, часто не являлся в должность. Не прошло и года, как ему предложено было выйти в отставку, на что он с радостью согласился: в это время литературные работы поглощали все его мысли. В течение 1830-го и 1831 годов в тогдашних повременных изданиях появилось несколько его статей, почти все еще без подписи автора: «Учитель», «Успех посольства», отрывок из романа «Гетман», «Несколько мыслей о преподавании географии», «Женщина». Среди холода и неуютности петербургской жизни мысли его невольно неслись в родную Малороссию; кружок товарищей-нежинцев, с которыми он с самого приезда сохранял дружескую связь, разделял и поддерживал его симпатии. Каждую неделю сходились они вместе, говорили о своей дорогой Украине, пели малороссийские песни, угощали друг друга малороссийскими кушаньями, вспоминали свои школьные проделки и свои веселые поездки домой на каникулы.

Поющие двери, глиняные полы, низенькие комнаты, освещенные огарком в старинном подсвечнике, покрытые зеленой плесенью крыши, подблачные дубы, девственные чащи черемух и черешен, яхонтовые моря слив, упоительно-роскошные летние дни, мечтательные вчера, ясные зимние ночи – все эти с детства знакомые родные образы снова воскресли в воображении Гоголя и просились вылиться в поэтических произведениях. К маю 1831 года у него были готовы повести, составившие первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В начале 1831 года Гоголь познакомился с Жуковским, который отнесся к начинающему писателю со своею обычной добротой и горячо рекомендовал его Плетневу. Плетнев с большим сочувствием взглянул на его литературные работы, посоветовал ему издать первый сборник его повестей под псевдонимом и сам выдумал для него заглавие, рассчитанное на то, чтобы возбудить интерес в публике. Чтобы обеспечить Гоголя в материальном отношении, Плетнев, состоявший в то время инспектором Патриотического института, дал ему место старшего учителя истории в этом институте и предоставил ему уроки в нескольких аристократических семействах. В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов в 1832 году на празднике, который давал известный книгопродавец Смирдин по случаю перенесения своего магазина на новую квартиру. Гости подарили хозяину разные статьи, составившие альманах «Новоселье», в котором помещена и Гоголева «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

С Пушкиным Гоголь познакомился летом 1831 года. Благодаря ему и Жуковскому он был введен в гостиную Карамзиных, составлявшую как бы звено между литературным и придворно-аристократическим кругом, и познакомился с князем Вяземским, с семейством графа Виельгорского, с фрейлинами, красою которых считалась Александра Осиповна Россети, впоследствии Смирнова. Все эти знакомства не могли не оказать на Гоголя влияния, и влияния очень сильного. Молодой человек, обладавший скудным житейским опытом и еще более

скудными теоретическими знаниями, должен был подчиниться обаянию более развитых и образованных людей. Жуковский, Пушкин – были имена, которые он с детства привык произносить с благоговением; когда он увидел, что под этими именами скрываются не только великие писатели, но истинно добрые люди, принявшие его с самым искренним дружелюбием, он всем сердцем привязался к ним, он охотно воспринял их идеи, и идеи эти легли в основу его собственного мирозерцания. По отношению к политике убеждения того литературно-аристократического круга, в котором пришлось вращаться Гоголю, могут быть охарактеризованы словом «либерально-консервативные». Всякие коренные реформы русского быта и монархического строя России отвергались им безусловно, как нелепые и вредоносные, а между тем стеснения, налагаемые этим строем на отдельные личности, возмущали его; ему хотелось более простора для развития индивидуальных способностей и деятельности, более свободы для отдельных сословий и учреждений; всякие злоупотребления бюрократического произвола встречали его осуждение, но он отвергал как энергический протест против этих злоупотреблений, так и всякие доискивания коренной причины их. Впрочем, надобно сказать, что вопросы политические и общественные никогда не выдвигались вперед в том блестящем обществе, которое собиралось в гостиной Карамзиных и группировалось около двух великих поэтов. Жуковский и как поэт, и как человек чуждался вопросов, волновавших жизнь, приводивших к сомнению или отрицанию. Пушкин с пренебрежением говорил о «жалких скептических умствованиях прошлого века» и о «вредных мечтаниях», существующих в русском обществе, и сам редко предавался подобным мечтаниям.

«Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв...» рождены на свет избранники судьбы, одаренные гением творчества. Жрецы чистого искусства, они должны стоять выше мелких страстей черни. С этой точки зрения служения искусству рассматривались кружком и все произведения, выходившие из-под пера тогдашних писателей. Свежая поэзия, веселый юмор первых произведений Гоголя обратили на себя внимание корифеев тогдашней литературы, не подозревавших, какое общественное значение будут иметь дальнейшие произведения остроумного «хохла», какое толкование придаст им новое, уже нарождавшееся литературное поколение.

Знакомства в аристократическом мире не заставили Гоголя прервать связи с его однокашниками по Нежинскому лицей. В маленькой квартире его собиралось довольно разнообразное общество: бывшие лицеисты, из числа которых Кукольник уже пользовался громкой известностью, начинающие писатели, молодые художники, знаменитый актер Щепкин, какой-нибудь никому не известный скромный чиновник. Тут рассказывались всевозможные анекдоты из жизни литературного и чиновничьего мира, сочинялись юмористические куплеты, читались вновь выходившие стихотворения. Гоголь читал необыкновенно хорошо и выразительно. Он благоговел перед созданиями Пушкина и делился с приятелями каждой новинкой, выходившей из-под его пера. Стихотворения Языкова приобретали в его чтении особенную выпуклость и страстность. Оживленный, остроумный собеседник, он был душой своего кружка. Всякая пошлость, самодовольство, лень, всякая неправда как в жизни, так в особенности в произведениях искусства встречали в нем меткого обличителя. И сколько тонкой наблюдательности выказывал он, отмечая малейшие черты лукавства, мелкого искательства и себялюбивой напыщенности! Среди самых жарких споров, одушевленных разговоров его не покидала способность следить за всеми окружающими, подмечать скрытые душевные движения и тайные побуждения каждого. Часто случайно услышанный анекдот, по-видимому вовсе не интересный рассказ какого-нибудь посетителя зароняли в душу его образы, которые разрастались в целые поэтические произведения. Так, анекдот о каком-то канцеляристе, страстном охотнике, скопившем с большим трудом денег на покупку ружья и потерявшем это ружье, зародил в нем идею «Шинели»; рассказ какого-то старичка о привычках сумасшедших породил «Записки сумасшедшего». Сами «Мертвые души» обязаны своим происхождением слу-

чайному рассказу. Один раз Пушкин среди разговора передал Гоголю известие о том, что какой-то авантюрист занимался в Псковской губернии покупкой у помещиков мертвых душ и за свои проделки арестован. «Знаете ли, – прибавил Пушкин, – это отличный материал для романа, я как-нибудь займусь им». Когда несколько времени спустя Гоголь показал ему первые главы своих «Мертвых душ», он сначала немного подсадовал и говорил своим домашним: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». Но затем, увлекшись прелестью рассказа, вполне примирился с похитителем своей идеи и поощрял Гоголя продолжать поэму.

От 1831-го до 1836 года Гоголь почти сплошь прожил в Петербурге. Только два раза удалось ему провести по несколько недель в Малороссии да побывать в Москве и в Киеве. Это время было периодом самой усиленной литературной деятельности его. Не считая разных журнальных статей и неоконченных повестей, он в эти годы выпустил две части «Вечеров на хуторе» и подарил нас такими произведениями, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Портрет», «Женитьба», «Ревизор», первые главы «Мертвых душ».

Сам Гоголь относился очень скромно к своим первым литературным произведениям. Всеобщие похвалы льстили его самолюбию, были ему приятны, но он считал их преувеличенными и, по-видимому, не сознавал нравственного значения смеха, возбуждаемого его рассказами. Он по-прежнему мечтал о великом деле, о подвиге на благо многим, но все еще искал этого дела вне литературы. В 1834 году, при открытии Киевского университета, он сильно хлопотал о кафедре истории при нем; когда же хлопоты эти не удались, он, при содействии своих покровителей, получил должность адъюнкта по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете. Нельзя не удивляться, что человек с такой слабой теоретической подготовкой, с таким скудным запасом научных знаний решился взяться за чтение лекций. Но, может быть, именно потому, что он никогда не занимался наукой, она и казалась ему делом нетрудным.

«Ради нашей Украины, ради отцовских могил, не сиди над книгами! – пишет он в 1834 году М. Максимовичу, получившему кафедру русской словесности в Киеве. – Будь таков, как ты есть, говори свое. Лучше всего ты делай эстетические с ними (со студентами) разборы. Это для них полезнее всего; скорее разовьет их ум и тебе будет приятно». Впрочем, сам Гоголь, по-видимому, имел серьезное намерение или, по крайней мере, мечтал посвятить себя науке. В своих письмах от того времени он не раз говорит, что работает над историей Малороссии и, кроме того, собирается составить «Историю Средних веков томов в 8 или 9, если не больше». Блестящим результатом его занятий украинскими древностями явился «Тарас Бульба», мечты же об истории Средних веков так и остались мечтами. Профессорский персонал Петербургского университета очень сдержанно относился к своему новому собрату: многих не без основания возмущало назначение на кафедру человека, известного только несколькими беллетристическими произведениями и вполне чуждого в мире науки. Зато студенты с нетерпеливым любопытством ожидали нового лектора. Первая лекция его (она напечатана в «Арабесках» под названием «О характере истории Средних веков») привела в восторг. Живыми картинами осветил он им мрак средневековой жизни. Затаив дыхание, следили они за блестящим полетом его мысли. По окончании лекции, продолжавшейся три четверти часа, он сказал им: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории Средних веков; в следующий раз мы примемся за самые факты и должны будем для этого вооружиться анатомическим ножом».

Но этих-то фактов и не было в распоряжении молодого ученого, а кропотливое собирание и «анатомирование» их было не под силу уму его, слишком склонному к синтезу, к быстрому обобщению. Вторую лекцию он начал громкой фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Затем вяло и безжизненно поговорил о переселении народов, указал несколько курсов по истории и через 20 минут сошел с кафедры. Последующие лекции были в том же роде. Студенты скучали, зевали и сомневались, неужели этот бездарный г-н Гоголь-

Яновский – тот самый Рудый Панько, который заставлял их смеяться таким здоровым смехом. Еще только один раз удалось ему оживить их. На одну из его лекций приехали Жуковский и Пушкин. Вероятно, Гоголь знал заранее об этом посещении и приготовился к нему. Он прочел лекцию, подобную своей вступительной, такую же увлекательную, живую, картинную: «Взгляд на историю аравитян». Кроме этих двух лекций, все остальные были до крайности слабы. Скука и недовольство, ясно выражавшиеся на лицах молодых слушателей, не могли не действовать удручающе на лектора. Он понял, что взялся не за свое дело, и стал тяготиться им. Когда, в конце 1835 года, ему предложили выдержать испытание на степень доктора философии, если он желает занять профессорскую должность, он без сожаления отказался от кафедры, которую не мог занимать с честью.

Напрасно старался Гоголь убедить себя и других, что может посвятить себя научным исследованиям. Инстинкт художника подталкивал его воплощать в живые образы явления окружающей жизни и мешал ему предаваться серьезному изучению сухих материалов. Задумав составить большое сочинение по географии, «Земля и люди», он вскоре писал Погодину: «Не знаю, отчего на меня напала тоска... корректурный листок выпал из рук моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается, не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь свершу из истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, что не взял шире, огромней по объему, то вдруг зиждется новая система и рушится старая». Затем он сообщает, что помешался на комедии, что она не выходит у него из головы, и сюжет и заглавие уже готовы. «Примусь за историю – передо мной движется сцена, шумят аплодисменты; рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и история к черту!» Вместо того чтобы подготавливаться к лекциям, он издавал свой «Миргород», создавал «Ревизора», вынашивал в голове первый том «Мертвых душ», принимал деятельное участие в литературных делах того времени. Злобой дня тогдашнего литературного мира было ненормальное состояние журналистики. Ею окончательно овладел известный триумvirат: Греч, Сенковский и Булгарин. Благодаря большим денежным средствам издателя-книгопродавца Смирдина «Библиотека для чтения» сделалась самым толстым и самым распространенным из ежемесячных журналов. Сенковский царил в ней безраздельно. Под разными псевдонимами он наполнял ее своими собственными сочинениями; в отделе критики, по своему усмотрению, одних писателей производил в гении, других топтал в грязь; произведения, печатавшиеся в его журнале, самым бесцеремонным образом сокращал, удлинял, переделывал на свой лад. Официальным редактором «Библиотеки для чтения» значился Греч, а так как он, кроме того, издавал вместе с Булгариным «Северную пчелу» и «Сына отечества», то, понятно, все, что говорилось в одном журнале, поддерживалось в двух других. Притом надобно заметить, что для борьбы с противниками триумvirат не брезговал никакими средствами, даже доносом, так что чисто литературная полемика нередко оканчивалась при содействии администрации. Несколько периодических изданий в Москве и Петербурге («Молва», «Телеграф», «Телескоп», «Литературные прибавления к „Инвалиду“») пытались противодействовать глетворному влиянию «Библиотеки для чтения». Но отчасти недостаток денежных средств, отчасти отсутствие энергии и умелости вести журнальное дело, а главным образом тяжелые цензурные условия мешали успеху борьбы. С 1835 года в Москве с той же целью противодействия петербургскому триумvirату явился новый журнал «Московский наблюдатель». Гоголь горячо приветствовал появление нового члена журнальной семьи. Он был знаком лично и состоял в переписке с издателем его Шевыревым и с Погодиным; кроме того, и Пушкин благосклонно отнесся к московскому изданию. «Телеграф» и «Телескоп» возмущали его резкостью своего тона и несправедливыми, по его мнению, нападками на некоторые литературные имена (Дельвига, Вяземского, Катенина). «Московский наблюдатель» обещал более почтительности к авторитетам, более солидности в обсуждении разных вопросов, менее молодого задора, неприятно действовавшего на аристократов литературного мира. Гоголь самым энергичным образом про-

пагандировал его среди своих петербургских знакомых. Каждый член его кружка непременно должен был подписаться на новый журнал, «иметь своего „Наблюдателя“»; всех своих знакомых писателей он упрашивал посылать туда статьи. Вскоре пришлось ему, однако, сильно разочароваться в московском органе. От его книжек веяло скукой, они были бледны, безжизненны, лишены руководящей идеи. Такой противник не мог быть страшен для петербургских воротил журнального дела. А между тем Гоголю пришлось испытать на себе неприятные стороны их владычества. Когда вышли его «Арабески» и «Миргород», вся болгаринская клика с ожесточением набросилась на него, а «Московский наблюдатель» очень сдержанно и уклончиво высказывал ему свое одобрение. Правда, в защиту его из Москвы раздался голос, но он еще не предчувствовал всей мощи этого голоса. В «Телескопе» появилась статья Белинского: «О русской повести и повестях Гоголя», в которой говорилось, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и прямо заявлялось, что в Гоголе русское общество имеет будущего «великого писателя». Гоголь был и тронут, и обрадован этой статьей; но благосклонный отзыв критика еще не авторитетного, помещенный в органе, которому не симпатизировали его петербургские друзья, не вознаграждал его за неприятности, какие приходилось ему терпеть с других сторон. Кроме едких критик литературных врагов, он подвергался еще более тяжелым нападкам на свою личность. Вступление его в университет благодаря протекции, а не ученым заслугам, было встречено неодобрительно в кружке его близких знакомых, и неодобрение это возрастало по мере того, как выяснялась полная неспособность его к профессорской деятельности. Он отказался от кафедры в конце 1835 года, но в душе его остался осадок горечи от осуждения, справедливость которого он не мог не сознавать. В том же 1835 году Гоголь начал хлопотать о постановке на сцене петербургского театра своего «Ревизора». Это было первое его произведение, которым он сильно дорожил, которому он придавал большое значение. «Это лицо, – говорит он про Хлестакова, – должно быть типом многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадаетея и в натуру. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но натурально в этом не хочет только признаться». «В „Ревизоре“ я решился собрать в кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за один раз посмеяться надо всем».

Одним словом, он хотел создать серьезную комедию нравов и больше всего боялся, как бы она, вследствие непонимания или неумелости актеров, не показалась фарсом, карикатурой. Чтобы избежать этого, он усердно следил за постановкой пьесы, читал актерам их роли, присутствовал на репетициях, хлопотал о костюмах, о бутафорских принадлежностях. В вечер первого представления театр был полон избранной публикой. Гоголь сидел бледный, взволнованный, грустный. После первого акта недоумение было написано на всех лицах; по временам раздавался смех, но чем дальше, тем реже слышался этот смех, аплодисментов почти совсем не было, зато заметно было общее напряженное внимание, которое в конце перешло в негодование большинства: «Это – невозможность, это – клевета, это – фарс!» – слышалось со всех сторон. В высших чиновничьих кругах называли пьесу либеральной, революционной, находили, что ставить подобные вещи на сцене – значит прямо развращать общество, и «Ревизор» избавился от запрещения только благодаря личному желанию императора Николая Павловича. Петербургская журналистика обрушилась на него всеми своими громами. Булгарин в «Северной пчеле» и Сенковский в «Библиотеке для чтения» обвиняли пьесу в нелепости и неправдоподобности содержания, в карикатурности характеров, в циничности и грязной двусмысленности тона. Гоголь был сильно огорчен и разочарован: его любимое произведение, от которого он ждал себе славы, унижено, заброшено грязью! «Я устал и душою, и телом, – писал

он Пушкину после первого представления „Ревизора“. – Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий... Бог же с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса!»

В письме к Погодину он подробно описывает свои ощущения: «Я не сержусь на толки, как ты пишешь; не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня; не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты. Но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицей; грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же оплеванного и опозоренного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. „Он зажигатель! Он бунтовщик!“ И кто же это говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь настолько ума, чтобы понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет – по крайней мере русский свет – называет образованными. Выведены на сцену плуты – и все в ожесточении: „зачем выводить на сцену плутов?“ Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекоотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были, хотя слегка, ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пьесы, меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь петербургская ясна перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее – и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, – то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, – считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту – значит в переводе опозорить все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотрим положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами – утешит ли это его?»

Понимание небольшого круга передовых людей не могло утешить Гоголя, потому что сам он не ясно сознавал значение и нравственную силу своего произведения. Для него, как и для его друзей, которым он читал «Ревизора» в квартире Жуковского, это была живая, верная картина провинциального общества, едкая сатира над всеми признанною язвою бюрократического мира – над взяточничеством. Когда он писал ее, когда он так усердно хлопотал о постановке ее на сцену, ему и в голову не приходило, что она может иметь глубокий общественный смысл, что, ярко изображая пошлость и неправду, среди которой жило общество, она заставит это общество задуматься, поискать причин всей этой пошлости и неправды. И вдруг: «Либерал, бунтовщик, клеветник на Россию!» Он был ошеломлен, сбит с толку. Петербургский климат убийственно действовал на его здоровье, нервы его расшатались; больной, усталый умственно после усиленной работы последних лет, разочарованный в своих попытках найти истинно полезное поприще деятельности, он решил отдохнуть от всего, что волновало его последнее время, подальше от туманов и непогод северной столицы, под более ясным небом, среди совершенно чужих людей, которые отнесутся к нему и без вражды, и без назойливой приязни. «Я хотел бы убежать теперь. Бог знает куда, – писал он Пушкину в мае 1836 года, – и предстоящее мне путешествие – пароход, море и другие далекие небеса – могут одни только освежить меня. Я жажду их как бог знает чего!»

Глава III. Первые поездки за границу

В Германии и Швейцарии. – В Женеве и Париже. – Известие о смерти Пушкина. – В Риме. – Впечатления и встречи. – Смерть Виельгорского – Приезд на короткое время в Москву и Петербург. – Вторичный приезд в Рим. – Жизнь и литературные занятия Гоголя в Риме

В июне 1836 года Гоголь сел на пароход, отправлявшийся в Любек. С ним вместе ехал приятель его, А. Данилевский. Определенной цели не было ни у одного из них: им просто хотелось отдохнуть, освежиться, полюбоваться всем, что есть замечательного в Европе. Поездив вместе по Германии, приятели расстались: Данилевского тянуло в Париж, к тамошним развлечениям, Гоголь сделал один путешествие по Рейну и оттуда направился в Швейцарию. Красоты природы производили на него сильное впечатление. Особенно поражали его своим величавым великолепием снеговые вершины Альп. Под влиянием путешествия мрачное настроение, в каком он выезжал из Петербурга, рассеялось, он укрепился и ободрился духом: «Клянусь, что я сделаю то, чего не сделает обыкновенный человек, – писал он Жуковскому. – Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст».

Осенью, живя в Женеве и Вене, он усердно принялся за продолжение «Мертвых душ», первые главы которых были уже написаны в Петербурге. «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем, это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет мое имя!» – говорил он в письме к Жуковскому.

Зиму Гоголь провел опять вместе с Данилевским в Париже; вдвоем осматривали они все его достопримечательности: картинную галерею Лувра, Jardin des Plantes¹, Версаль и прочее, посещали кафе, театры, но вообще Гоголь нашел мало привлекательного в этом городе. То, что могло быть нового и интересного для русского в столице конституционной монархии, – борьба политических партий, прения в палате, свобода слова и печати – мало занимало его. При всех путешествиях на первом плане стояла для него природа и произведения искусства; людей он наблюдал и изучал как отдельные личности, а не как членов известного общества; все политические страсти и интересы были чужды его по преимуществу созерцательной натуре. За границей он мало сближался с иностранцами: везде он входил в круг своих, русских, из новых или из старых петербургских знакомых. В Париже он просиживал большую часть вечеров в уютной гостиной Александры Осиповны Смирновой. Смирнова, урожденная Россети, бывшая фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, блистала в светских кругах красотой и умом. Через Плетнева, бывшего ее учителем в Екатерининском институте, и Жуковского она познакомилась со всеми выдающимися писателями того времени, и «все мы были более или менее ее военнопленными», – говорит князь Вяземский. Пушкин и Лермонтов посвящали ей стихотворения, Хомяков, Самарин, Иван Аксаков увлекались ею, Жуковский называл ее «небесным дьяволенком». Гоголь познакомился с ней еще в 1829 году, давая уроки в одном аристократическом семействе. Она обратила внимание на скромного, застенчивого учителя ради его хохлацкого происхождения. Сама она родилась в Малороссии, провела там первое детство и любила все малороссийское. Есть некоторые основания предполагать, что Гоголь не остался равнодушным к чарам остроумной и кокетливой светской красавицы; но он тщательно скрывал эту любовь от всех окружающих, и во всех его многочисленных письмах к Александре Осиповне видна одна только искренняя дружба, которая находила и в ней ответ. В Париже они встретились как добрые старые знакомые, и все разговоры их вертелись главным

¹ Ботанический сад (фр.).

образом на воспоминаниях о Малороссии. Она пела ему: «Ой, не ходы, Грицю, на вечорныщи», и вместе вспоминали они малороссийскую природу и малороссийские галушки. Свои парижские наблюдения он передавал ей в виде комических сцен, дышавших тонкой наблюдательностью и неподдельным юмором.

В Париже застало Гоголя известие о смерти Пушкина. Как громом поразила его эта весть! «Ты знаешь, как я люблю свою мать, – говорил он Данилевскому, – но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкин в этом мире не существует больше!» «Что месяц, что неделя, то новая утрата, – писал он позднее Плетневу из Рима, – но никакой вести нельзя было получить хуже из России... Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собой. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет предвкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

Очень может быть, что именно эта тоска ускорила отъезд Гоголя из Парижа. В марте 1837 года он уже был в Риме. Вечный город произвел на него обаятельное впечатление. Природа Италии восхищала, очаровывала его. Живя в Петербурге, он постоянно вздыхал о весне, завидовал тем, кто может наслаждаться ею в Малороссии, а тут вдруг его охватила вся прелесть итальянской весны. «Какая весна! Боже, какая весна!» – в восторге восклицает он в одном из своих писем. «Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющом и дикими цветами. Как хороши теперь синие клочки неба промеж деревьев, едва покрывшихся свежей, почти желтой зеленью, и даже темные, как воронье крыло, кипарисы и еще далее голубые, матовые, как бирюза, горы Фраскати, и Албанские, и Тиволи. Что за воздух! Удивительная весна! Гляжу и не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Вероятно, в другие минуты жизни Гоголь точно так же страстно желал весь превратиться в глаза, чтобы ничего не потерять из тех чудных картин, которые разворачивались перед ним на каждом шагу, постоянно открывая новые и новые прелести. «О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии, – писал он Плетневу. – Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина, на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства – все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Богу».

Все в Риме нравилось Гоголю, все пленяло его. От наслаждения природой он переходил к произведениям искусства, и тут уже не было конца его восторгам. Памятники древней жизни и создания новейших художников, Колизей и св. Петр равно очаровывали его. Он изучил все картинные галереи города; он по целым часам простаивал в церквах перед картинами и статуями великих мастеров; он посещал мастерские всех художников и скульпторов, живших тогда в Риме. Показывать Рим знакомым, приезжавшим из России, было для него величайшим удовольствием. Он просто гордился Римом как чем-то своим, хотел, чтобы все им восхищались, обижался на тех, кто холодно относился к нему. Римский народ также очень нравился ему своей веселостью, своим юмором и своим остроумием. Научившись хорошо понимать итальянский язык, он часто подолгу сидел у открытого окна своей комнаты, с удовольствием при-

слушиваясь к перебранке каких-нибудь мастеровых или к пересудам римских кумушек. Он наблюдал отдельные типы, восхищался ими; но и здесь, как в Париже, у него не было охоты сойтись поближе с обществом или с народом, узнать, чем живет, на что надеется, чего ждет этот народ. Он свел знакомство с несколькими итальянскими художниками, но большую часть времени проводил или один в работе и в уединенных прогулках, или в обществе русских. Из русских художников, живших в то время в Риме, он близко сошелся только с А. И. Ивановым, да разве с гравером Иорданом, и вообще симпатизировал немногим: большинство не нравилось ему своей заносчивостью, недостатком образования и таланта в соединении с громадным самомнением. Русских гостей Гоголю приходилось часто принимать в Риме и «угощать» Римом. Не считая Данилевского, который одновременно с ним странствовал по Европе, у него в первые же годы жизни в Риме побывали: Жуковский, Погодины (муж и жена), Панаев, Анненков, Шевырев и многие другие. В Риме же ему пришлось ухаживать за одним больным, который и умер на его руках. Это был Иосиф Виельгорский, сын гофмейстера графа Михаила Юрьевича Виельгорского, молодой человек, по отзывам всех знавших его, богато одаренный от природы. Гоголь был знаком в Петербурге с ним и его семьей. У него развилась чахотка, доктора послали его в Италию, и мать его просила Гоголя принять в нем участие, позаботиться о нем на чужбине. Гоголь исполнил ее просьбу более чем добросовестно: он окружил больного самой нежной заботливостью, почти не расставался с ним целые дни, проводил ночи без сна у его постели. Смерть юноши сильно огорчила его. «Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются, – писал он Данилевскому. – Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только – увы! – во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени благородна была эта высокая, младенчески-ясная душа! Это был бы муж, который бы украсил один будущее царствование Александра Николаевича. И прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси!..»

Под живительными лучами итальянского солнца здоровье Гоголя укреплялось, хотя вполне здоровым он себя никогда не считал. Знакомые подтрунивали над его мнительностью, но он еще в Петербурге говорил совершенно серьезно, что доктора не понимают его болезни, что у него желудок устроен совсем не так, как у всех людей, и это причиняет ему страдания, которых другие не понимают. Живя за границей, он почти каждое лето проводил на каких-нибудь водах, но редко выдерживал полный курс лечения; ему казалось, что он сам лучше всех докторов знает, как и чем лечиться. Всего благотворнее, по его мнению, на него действовали путешествия и жизнь в Риме. Путешествия освежали его, прогоняли всякие мрачные или тревожные мысли. Рим укреплял и бодрил его. Там принялся он за продолжение «Мертвых душ», кроме того, он писал «Шинель» и «Аннунциату», повесть, впоследствии переделанную им и составившую статью «Рим»; много работал он также над большой трагедией из быта запорожцев, но остался недоволен ею и после нескольких переделок уничтожил ее.

Осенью 1839 года Гоголь отправился вместе с Погодиным в Россию, прямо в Москву, где кружок Аксаковых принял его с распростертыми объятиями. С семейством Аксаковых он был знаком раньше, и все оно принадлежало к числу восторженных поклонников его. Вот как описывает С. Т. Аксаков впечатление, произведенное на них приездом Гоголя: «Я жил это лето с семьей на даче в Аксиньине, в 10 верстах от Москвы. 26 сентября вдруг получаю я следующую записку от Щепкина: «Спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились, с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает; я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его принял; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал; такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе». Мы все обрадовались чрезвычайно.

Сын мой (Константин), прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, тотчас же поскакал в Москву и повидался с Гоголем, который остановился у Погодина».

Понятно, какое согревающее впечатление должен был произвести на душу Гоголя такой сердечный прием. Он почти каждый день бывал у Аксаковых и являлся перед ними таким, каким видали его все близкие знакомые: веселым, остроумным и задушевным собеседником, чуждым всякой заносчивости, всякой церемонности. В его внешности Аксаковы нашли большую перемену против того, как видали его в 1834 году.

«Следов не было прежнего гладко выбритого и обстриженного, кроме одного хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные, белокурые, густые волосы лежали у него по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то не внешнему. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее».

Гоголь собирался в Петербург, где должен был взять из Патриотического института двух своих сестер. Сергею Тимофеевичу Аксакову нужно было ехать туда же с сыном и дочерью. Они отправились все вместе в одном экипаже, и всю дорогу Гоголь был неистощимо весел. В Петербурге он остановился у В. А. Жуковского, который в качестве наставника тогдашнего наследника, цесаревича Александра Николаевича, имел большую квартиру в Зимнем дворце, – и тотчас же для него начались неприятные хлопоты. Литературные работы не обеспечивали его в материальном отношении. Деньги, полученные им с Дирекции императорских театров за «Ревизора» (2500 руб. ассигн.), дали ему средства уехать из России в 1836 году, но, конечно, не могли обеспечить его существование за границей. В 1837 году Жуковский выхлопотал для него пособие от государя в размере 5 тысяч руб. ассигн., и на эти деньги он жил до приезда в Россию. Но теперь ему предстояли экстренные расходы: надобно было, взяв сестер из института, сделать им полную экипировку, довести их до Москвы да еще заплатить за некоторые приватные уроки, которые они брали в институте. Мать его не могла ничего уделить дочерям из своих средств. Хотя имение, оставшееся после Василия Афанасьевича Гоголя, было не особенно маленькое (200 душ крестьян, около 1000 десятин земли), но заложенное, и доходами с него Марья Ивановна еле могла существовать. Приезд из Малороссии в Москву за дочерьми и без того представлялся ей довольно разорительным. Гоголь не решился обратиться с просьбой о денежном пособии к своим старым друзьям, Жуковскому и Плетневу, так как они и без того много раз ссужали его деньгами, и он считал себя их неоплатным должником; из других знакомых его одни, несмотря на все желание, не в состоянии были помочь ему, с другими он не был настолько близок, чтобы явиться в роли просителя. Гоголь волновался, хандрил, обвинял Петербург в холодности, равнодушии. С. Т. Аксаков с чуткостью, свойственной его истинно доброму сердцу, угадал, что происходило в душе поэта, и сам, без всякой просьбы с его стороны, предложил ему две тысячи рублей. Гоголь очень хорошо знал, что Аксаковы совсем не богаты, что им самим часто приходится нуждаться в деньгах, тем более тронула его эта неожиданная помощь. Успокоившись насчет материальных дел, Гоголь и в Петербурге не оставлял вполне своих литературных занятий и каждый день проводил определенные часы за письменным столом, запершись в своей комнате от всех посетителей. У него в то время была готова большая часть первого тома «Мертвых душ», и первые главы были даже окончательно отделаны. Он читал их в кружке своих приятелей, собравшихся для этой цели в квартире Прокоповича. Все слушали с напряженным вниманием мастерское чтение, только иногда взрывы неудержимого смеха прерывали общую тишину. Гоголь при передаче самых смешных сцен сохранял полную серьезность, но искренняя веселость и неподдельный восторг, возбуждаемый в слушателях, видимо, были ему очень приятны.

В Петербурге он оставался в этот раз недолго и, взяв сестер из института, вернулся вместе с Аксаковыми в Москву. В Москве умственная жизнь шла в то время гораздо живее, чем в Петербурге. Резкого разрыва между славянофилами и западниками еще не произошло, в передовой интеллигенции господствовало увлечение Гегелем и немецкой философией. У Аксаковых, у Станкевича, у Елагиной – везде, где собирались молодые профессора или литераторы, шли горячие, оживленные споры о разных отвлеченных вопросах и философских системах. Гоголь ни по своему развитию, ни по складу ума своего не мог принимать участия в подобных словопрениях. Его московские друзья вовсе и не ожидали этого от него. Он нравился им как человек тонко наблюдающий и нежно-отзывчивый, они поклонялись его таланту, они любили его как художника, который смелою и в то же время тонкою кистью касался язв современного общества. Причины этих язв, средства уврачевать их они искали и находили на основании своих собственных убеждений. Именно потому, что Гоголь не высказывал своих теоретических взглядов, каждая партия считала себя вправе называть его своим и заключать о его мировоззрении на основании тех выводов, которые сама делала из его произведений.

«Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю великость этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих! – восклицал всегда восторженный Константин Аксаков. – Что за художник! Как полезно с ним проводить время!»

Станкевич восхищался каждой строчкой, выходявшей из-под пера его; при первых словах его чтения он заливался неудержимым хохотом от одного предчувствия того юмора, каким проникнуты его произведения.

«Поклонись от меня Гоголю, – писал с Кавказа Белинский, в то время еще москвич по духу, – и скажи ему, что я так люблю его и как поэта, и как человека; что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадой и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось говорить с ним, но его присутствие давало полноту душе моей».

Отправив одну из сестер своих в деревню с матерью, которая приезжала в Москву, чтобы взять ее и повидаться с сыном, поместив другую к одной знакомой барыне, взявшей ее докончить ее образование, Гоголь стал собираться назад в Рим. Друзья старались удержать его, высказывая опасение, что среди роскошной природы и привольной жизни Италии он забудет Россию; но он уверял их, что совершенно наоборот: чтобы настоящим образом любить Россию, ему необходимо удалиться от нее; во всяком случае, он обещал через год вернуться в Москву и привезти первый том «Мертвых душ» совсем готовым. Аксаковы, Погодин и Щепкин проводили его до первой станции Варшавской дороги и там распрощались самым дружеским образом.

Выдержав в Вене курс лечения водами, Гоголь затем вернулся в свой любимый Рим, про который он говорил: «мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет». Теперь уже этот Рим перестал служить для него предметом постоянного восторженного наблюдения и изучения: он бессознательно, как чем-то привычным, наслаждался и его природой, и его художественными красотами, и вполне предался своим литературным трудам. «Я обрадовался моим проснувшимся силам, освеженным после вод и путешествия, – пишет он, – и стал работать изо всех сил, почуя просыпающееся вдохновение, которое давно уже спало во мне». Он дописывал последние главы первого тома «Мертвых душ», кроме того, переделывал некоторые сцены в «Ревизоре», перерабатывал набело «Шинель», занимался переводом итальянской комедии «Ajo nell Imbarazzo» («Дядька в затруднительном положении»), о постановке которой на сцене московского театра давал подобные указания Щепкину. Но – увы – слабый организм поэта не вынес нервного напряжения, сопровождающего усиленную творческую деятельность. Он схватил сильнейшую болотную лихорадку (malaria). Острая, мучительная болезнь едва не свела его в могилу и надолго оставила следы как на физическом, так и на

психическом состоянии его. Припадки ее сопровождались нервными страданиями, слабостью, упадком духа. Н. П. Боткин, бывший в то время в Риме и с братской любовью ухаживавший за Гоголем, рассказывает, что он говорил ему о каких-то видениях, посещавших его во время болезни. «Страх смерти», мучивший отца Гоголя в последние дни его жизни, передался отчасти и сыну. Гоголь с ранних лет отличался мнительностью, всегда придавал большое значение всякому своему нездоровью; болезнь мучительная, не сразу поддавшаяся врачебной помощи, показалась ему преддверием смерти или, по крайней мере, концом деятельной, полной жизни. Серьезные, торжественные мысли, на которые наводит нас близость могилы, охватили его и не покидали более до конца жизни. Оправившись от физических страданий, он опять принялся за работу, но теперь она приобрела для него иное, более важное значение. Отчасти под влиянием размышлений, навеянных болезнью, отчасти благодаря статьям Белинского и рассуждениям его московских почитателей, в нем выработался более серьезный взгляд на свои обязанности как писателя и на свои произведения. Он, чуть не с детства искавший поприща, на котором можно прославиться и принести пользу другим, пытавшийся сделаться и чиновником, и актером, и педагогом, и профессором, понял наконец, что его настоящее призвание есть литература, что смех, возбуждаемый его творениями, имеет под собой глубокое воспитывающее значение. «Дальнейшее продолжение „Мертвых душ“, – говорит он в письме к Аксакову, – выясняется в голове моей чище, величественнее, и теперь я вижу, что сделаю, может быть, со временем, кое-что колоссальное, если только позволят слабые силы мои. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначительный сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете».

В то же время религиозность, отличавшая его с детских лет, но до сих пор редко проявлявшаяся наружу, стала чаще выражаться в его письмах, в его разговорах, во всем его мировоззрении. Под ее влиянием он стал придавать своей литературной работе какой-то мистический характер, стал смотреть на свой талант, на свою творческую способность как на дар, ниспосланный ему Богом ради благой цели, на свою писательскую деятельность как на предопределенное свыше призвание, как на долг, возложенный на него Провидением.

«Создание чудное творится и совершается в душе моей, – писал он в начале 1841 года, – и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета».

Этот мистический, торжественный взгляд на свое произведение Гоголь высказывал пока еще очень немногим из своих знакомых. Для остальных он был прежним приятным, хотя несколько молчаливым собеседником, тонким наблюдателем, юмористическим рассказчиком.

Россия и все русские по-прежнему возбуждали в нем самый горячий интерес. Русских, заезжавших к нему в Рим, он выпрашивал о всем, что делалось в России, без усталости слушал рассказы их о всяких новостях, литературных и нелитературных, о всех интересных статьях, появлявшихся в журналах, о всех новых писателях.

При этом он умел узнавать не только все, что ему хотелось, но и взгляды, мнения, характер рассказчика, сам же оставлял при себе свои душевные мысли и убеждения. «Он берет полной рукой все, что ему нужно, ничего не давая», – выражался про него римский приятель, гравер Иордан.

Кроме России и Рима, ничто, по-видимому, не интересовало Гоголя. В периоды усиленной творческой работы он обыкновенно почти ничего не читал. «Одна хорошая книга достаточна в известные эпохи для наполнения всей жизни человека», – говорил он и ограничивался тем, что перечитывал Данте, «Илиаду» в переводе Гнедича и стихотворения Пушкина. Политическая жизнь Европы менее, чем когда-нибудь, привлекала его внимание; о Франции как родоначальнице всяких новшеств, как истребительнице того, что он называл «поэзией прошлого», он отзывался чуть не с ненавистью. Тогдашний Рим, Рим папского владычества и австрийского влияния был ему по сердцу. Григорий XVI, по наружности такой добродушный,

так ласково улыбающийся на всех церемониальных выходах, умел подавлять все стремления своих подданных приобщиться к общей жизни европейских народов, к общему ходу европейской цивилизации. Беспокойная струя невидимо просачивалась под почвой тогдашнего здания итальянской жизни, тюрьмы были переполнены не уголовными преступниками, а беспокойными головами, не уживавшимися с монастырски-полицейским режимом, но на поверхности все было гладко, мирно, даже весело. На площадях города гремели великолепные оркестры, по улицам беспрестанно двигались торжественные религиозные процессии, сопровождаемые толпами молящихся, библиотеки, музеи, картинные галереи гостеприимно открывали двери свои для всех желающих. Художники, артисты, ученые находили здесь все средства для занятий своей специальностью и тихий, укромный уголок, защищенный от тех бурь, отголоски и предвестники которых нарушали покой остальной Европы.

Поселившись в сравнительно малолюдной улице Via Felice, в очень скромно меблированной, но просторной и светлой комнате, Гоголь вел правильную, однообразную жизнь.

Вставал он обыкновенно рано и тотчас же принимался за работу, выпивая в промежутках графин или два холодной воды. Он находил, что вода необыкновенно благотворно на него действует, что только с помощью ее он поддерживает свои силы. Завтракал он в каком-нибудь кафе чашкой кофе со сливками, потом до позднего обеда опять работал, если не было русских, с которыми предпринимал прогулки по Риму и окрестностям, а вечера большей частью проводил в кругу своих приятелей художников.

К лету 1841 года первый том «Мертвых душ» был окончательно отделан и приготовлен к печати. Гоголь хотел сам руководить его изданием и приехать для этой цели в Россию. По мере того как подвигалась обработка его произведения и перед ним выяснился весь его план, он все более проникался мыслью о его великом значении. «Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами, – писал он С. Т. Аксакову, – мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков). Им нужно же: Михаилу Семеновичу – для здоровья, Константину Сергеевичу – для жатвы, за которую уже пора ему приняться, а милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтись никого! Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой, под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять – не для меня, нет. Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище. Стало быть, ее нужно беречь».

Глава IV. Предвестники душевного расстройства

Перемена в душевном настроении Гоголя по возвращении из-за границы. – Затруднения с первым томом «Мертвых душ». – Физические и нравственные страдания Гоголя. – Неприятности московской жизни. – Сборы в Иерусалим. – Гоголь приходит в дом Аксаковых с образом Спасителя в руках. – Отъезд за границу. – «Блюстители огня истины». – Любовь и мистицизм. – Уединенные чтения отцов церкви с А. О. Смирновой. – Страсть к проповедничеству в беседах и письмах. – Денежные затруднения. – Трехлетняя субсидия от императора Николая I. – Трудные роды второго тома «Мертвых душ». – Молитва для испрашивания вдохновения у Бога

Личные дела помешали и Щепкину, и К. Аксакову исполнить просьбу Гоголя и встретить его на дороге в Россию. Он приехал один сначала на короткое время в Петербург, затем в Москву, где старые знакомые встретили его с прежним радушием. С. Т. Аксаков нашел в

нем большую перемену за последние полтора года. Он похудел, побледнел, тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове. Его веселость и проказливость в значительной степени исчезли; в разговорах его прорывался порой прежний юмор, но смех окружающих как будто тяготил его и быстро заставлял переменять тон разговора.

Издание первого тома «Мертвых душ» доставило Гоголю немало волнений и внутренних страданий. Московский цензурный комитет не разрешил печатанья поэмы; его смущало само заглавие ее «Мертвые души», когда известно, что душа бессмертна. Гоголь отправился в петербургский цензурный комитет и долго не знал, какая судьба постигнет ее, будет она пропущена или нет. Ему пришлось по этому поводу обращаться с просительными письмами к разным влиятельным лицам: к Плетневу, Виельгорским, Уварову, кн. Дондукову-Корсакову, даже через Смирнову посылать прошение на высочайшее имя. Наконец в феврале он получил известие, что рукопись разрешена к печатанию. Новая беда! Несмотря на его письма и просьбы, рукопись не присылали в Москву, и никто не мог сообщить ему, где она находится. Зная, какое значение он придавал своему произведению, можно себе представить, как волновался Гоголь. Он беспрестанно наводил справки на почте, обращался с вопросами ко всем, кто мог указать ему, куда девалось его сокровище, считал его погибшим. Наконец в первых числах апреля 1842 года рукопись была получена. Петербургская цензура не нашла ничего подозрительного в том, что смутило московскую, только «Повесть о капитане Копейкине» оказалась сплошь зачеркнутой красными чернилами. Гоголь тотчас принялся переделывать ее и в то же время приступил к печатанью поэмы в количестве 2500 экземпляров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.